

**А. П. Казаркин**

*Томский государственный университет*

**Сибирская классика  
и литературное краеведение**

Сибирская литературная школа – историческая реальность или утопический проект? Сибиреведение не дает ответа на исходный вопрос, нового слова постсоветская Сибирь еще не сказала. «Региональный компонент образования» введен при почти нулевом методическом обеспечении, а научная дискуссия за десять лет так и не началась. Инициатива остается за школьным литературоведением, с его практической задачей: создать хрестоматию по литературе Сибири. Есть и новации, например, «Русская литература Горного Алтая» или «Русские писатели в Томске», а в областных институтах учителя требуют пособий типа «Тюмень литературная», «Литературный Кузбасс». Вузовские спецкурсы для филологов, почти исключительно, посвящены литературному краеведению. Сказав что-то о дорусской Сибири, о Ермаке, первых городах и гражданской войне, далее в розницу «проходят» писателей Омской или Новосибирской области – по месту проживания. А наследие Г. Потанина, Г. Гребенщикова, П. Васильева, В. Астафьева, В. Распутина, исторически и эстетически важное для всей Сибири, чаще всего оставляют без внимания.

Когда-то Г.Н. Потанин предложил курс «концентрического родоноведения», в котором объединятся гуманитарные и естественные науки: «Первый круг: окрестности школы; физическая география их и жизнь в них человека. Второй круг – область в физическом отношении. Третий круг – Россия» [Потанин, 1988, с. 141]. Такая комплексная дисциплина требует разносторонней подготовки, но обычно филологи плохо знают историю Сибири, а историки – ее литературу. Можно ли на одном уроке соединить географию, историю и литературу, – на этот вопрос утвердительно ответила евразийская школа, реализовавшаяся пока лишь в критике, а в научном литературоведении – минимально. Интерес студентов и школьников заметно выше, когда «литературная сибиряда» вплетена в общую историю Сибири. Но здесь есть опасность иллюстративного понимания курса: такой подход грозит утратой художественной природы литературы, это пережиток культурно-исторической школы. Отнять часы у классика и отдать их рядом живущим «обскурам» – такого права у преподавателя нет. Считаться со спецификой объекта, с его эстетической природой – значит очертить состав сибирской литературной классики.

Отмечено два момента активного самоопределения Сибири в литературе: 1860-80-е годы и 1920-е. Эпоха «гласности», вопреки ожиданиям, такого оживления не вызвала. С заметным опозданием задается Сибирь вопросом о собственной культурной идентичности, это неизбежно в переходную эпоху. Сейчас никто уже не спорит с тем, что областничество – момент рождения самосознания Сибири, но старые вопросы ждут «довыработки», конкретизации. Областническое сознание было не только антиимперским, оно означало смещение центра: на историю взглянули не с Запада, а из северной Азии.

До Потанина («Заметки о Западной Сибири», 1860 г.) о сибирской словесности говорили только этнографы, подразумевая мифологию и фольклор аборигенов да еще духовные стихи и легендарные «дорожники» кержаков. Сибирские летописи – повторение древнерусского канона, не оригинальны и первые романы сибиряков, так что до середины XIX века не было предпосылок для постановки вопроса: может ли чем-то сибирская проза отличаться от «центральной», кроме материала (быта). Проблема затронута в статье Н. Ядринцева «Сибирь перед судом русской литературы» (1865) и более детально рассмотрена Г. Потаниным («Роман и рассказ в Сибири», 1875). Областники разделили понятия литература о Сибири и собственно сибирская литература и видели, что «сибирской литературы еще нет, она вся в будущем» (Потанин). Избегать подражаний и тематических повторений – такова была главная установка. Для XIX века завершающую роль играют здесь «Воспоминания» Потанина, для первой половины XX века значима книга Г. Гребенщикова «Моя Сибирь».

Однако сибирской картины мира сами пионеры областничества не создали. Роман «Тайжане», начатый Потаниным и чуть подправленный Ядринцевым, – образец народнической словесности, в основе которой – риторика и наивный реализм. Тем не менее, о П. Ершове, И. Калашникове, Е. Милькееве, И. Куцевском упоминать следует лишь обзорно, как о *предыстории* сибирской литературы. Заговорив не только об «интересах области», но и о культурной *миссии* Сибири, Г. Потанин отделил идейно-содержательный принцип от географического. Внешне-тематический подход (всё, что про Сибирь, кем бы ни было написано) даже заметки путешественников XVII – XVIII веков подает как начало сибирской публицистики, а поэзию здесь отсчитывают от знаменитой баллады Рыльева о Ермаке. Но это не более как фон для исторических сопоставлений.

К концу XIX века сибирская литературная школа прошла первую стадию – сформировалась установка: если литератор не стал «свободным от могущественного потока русских умственных сил», не освободился от внешнего взгляда на свою малую родину и не осознал реальные нужды края, он еще не сибиряк. Н. Ядринцев, редактор «Восточного обозрения» и «Сибирских сборников», автор книги «Сибирь как колония» и работ «Трехсотлетие Сибири», «Литература и провинция», «Судьба сибирской поэзии и старинные поэты Сибири», «Сибирские литературные воспоминания», даже в школьном курсе, безусловно, заслуживает изучения как зачинатель собственно сибирской публицистики. А в вузовском курсе нельзя упустить имен С. Ремезова, П. Слоцова и А. Щапова. Рядом с пионерами областничества – Николай Наумов, мастер сказа, бытописатель деревенской общины. Повесть «Паутина» (о жизни старателей в сибирской тайге) интересна как образец народнической прозы: перевес дидактики и публицистики над собственно художественными задачами в ней очевиден.

Второй этап, собственно художественный, начали Г. Гребенщиков, А. Новоселов, В. Шишков и другие, но органическое развитие прервала революция. В 20-е годы сибирякам пришлось заново отстаивать возможность собственно сибирской литературы, а с 30-х годов эта тема исчезает из публицистики. Советская сибирская литература начиналась с отторжения областничества и потому обречена была на вторичность, ведь иной традиции здесь не было. Интернационалисты пытались выкорчевать остатки «местного патриотизма», краеведческие издания заподозрили в областничестве и закрыли, даже «Сибирская энциклопедия» оборвана на букве «Н».

Одно из последних выступлений Л. Троцкого-критика на родине посвящено Сибири: «Сибиряки – запойные певцы мощи стихии и слабости человека. Этим они отражают Сибирь... <...> Это отражается и на художественной форме – на необузданном половеобразе образов и слов. Это переходная стадия» [Троцкий, 1927, с. 9]. О том же, хоть и «с другого берега», писал М. Слоним: «У молодых сибирских писателей дурные сто-

роны неряшливого и плоского натурализма сочетались с какой-то особой грубостью... <...> ...сибирская поэзия носит необыкновенно провинциальный характер, и ее служители все повторяют азы, давно пройденные общерусской литературой и большей частью ею отвергнутые» [Слоним, 1929, с. 39, 44]. Публикуя статью в журнале областников, «Вольная Сибирь», М. Слоним признавал, что областнический принцип основателен, только если опирается на зрелые творческие силы, а таковых в Сибири нет. На пороге XX века литературная Сибирь все еще представляла собой хрестоматию этнографически-бытового материала. В значительной мере это относится к повести А. Новоселова «Беловодие», к рассказам и повестям В. Шишкова. О стихийности сказано верно, но и Л. Троцкий, и М. Слоним поставили в вину сибирякам как раз их своеобразие. Грубость и «кондовость» позднее, в прозе В. Астафьева, нашли классическое выражение как черта сибирского характера.

Надо помнить и мнение В. Ходасевича (начало 30-х годов): «Национальность литературы создается ее языком и духом, а не территорией, на которой протекает ее жизнь, и не бытом, в ней отраженным. <...> Быт, отраженный в литературе, не определяет ни ее духа, ни смысла» [Ходасевич, 1991, с. 467]. Конечно, пафос искусства определяется *миссией*, взятой на себя автором и литературной школой, вместе с тем, субэтническое сознание большого региона стимулируется, в первую очередь, природно-климатическими условиями жизни, а они определяют быт. Концепция Ходасевича, модернистская в основе, расходится с евразийским пониманием искусства: нельзя игнорировать *месторазвитие*. Если даже понимать «этнографизм» как стилевое течение и не считать его специфическим признаком сибирской литературы (он в той же мере характерен для донской литературы или «вологодской школы»), то никак нельзя отрешиться от «чалдонского менталитета» («сибирского характера»). А за ним открывается оперативный простор: Сибирь как расовый и культурный прибор, как трагическая данность, как мифологема. Речь, однако, идет не об одной Сибири, а о судьбе провинциальных культурных центров, противостоящих общей нивелировке.

Завершая предреволюционные наработки, Н.К. Пиксанов с сожалением отмечал в 20-е годы, что «не осознана еще общая, принципиально-методологическая задача изучения областных культурных гнезд, не понято важное значение их для всего общерусского исторического процесса», а при использовании этой категории «принцип культурного областничества будет поддержан и оправдан», более того, удастся «перестроить изложение истории русской культуры». Ученый призывал выстроить историю русской словесности иерархически – снизу вверх. Областные культурные гнезда – это проблематика краеведения, предметом внимания истории русской литературы они становятся, когда появляется самобытное стилевое направление. Но северная Азия, вчетверо превосходящая доуральскую Россию, не укладывается в понятие «культурное гнездо», и сибиреведение уникально: ведь не слышно про «волговедение». Надо подчеркнуть: в последний раз в советское время исследователь открыто поддержал областнический принцип: «Областничество – это практическое осознание того, что долго не было осознано столичной русской наукой теоретически» [Пиксанов, 1928, с. 63].

Большую известность чуть позднее получила книга М.К. Азадовского «Сибирь в художественной литературе», но в ней речь идет, большей частью, о произведениях, созданных не сибиряками. Его точка зрения резко расходится с потанинской: «Возможна областная провансальская литература, украинская, белорусская, литовская, но невозможна сибирская». Однако в последних случаях речь идет о *национальных* литературах: ведь литовцев никто считает субэтносом русских. Правда, ученый представил и противоположные мнения: «Другие понимают под областной литературой всякое воспроизведение жизни – природы и быта – той или иной особой местности. <...> Наконец, третьи считают неслучайным условием понятия “областная литература” присутствие момента областного само-

сознания, наличность тесного личного слияния автора с духом и интересами воспроизводимой в творчестве страны...» [Азадовский, 1988, с. 274]. Основа литературы – язык, и М. Азадовский опасался, что «воинствующее краеведение», как он выражался, поставит региональный уровень литературного процесса выше общесоюзного. Но диалект – это язык формирующегося субэтноса, а коммунистическая утопия глобальна, всеохватна и не допускает отклонения с единого «тракта». К тому же материал, которым оперировал исследователь, еще не давал ответа на вопрос, в чем же могла состоять оригинальность сибирской литературы, кроме темы. По существу, дальше этого советское понимание литературного регионализма так и не продвинулось, дискуссия прекратилась. Да и оперативная критика в советское время, избегая хроникальных обзоров, требующих идеологической акцентировки, предпочитала говорить об отдельных писателях. И в настоящее время критика отражает, как правило, замкнутую жизнь областных гнезд: иркутяне пишут об иркутянах, барнаульцы и омичи – о своих, общесибирская критика как самосознание суперрегиона исчезла.

«Очерки русской литературы Сибири» стали итогом многолетней работы большого коллектива, к сожалению, почти не имеющего прямых продолжателей. Труд этот отражает уровень сибиреведения 70-х годов, тем не менее, первый том сохранил научно-историческое значение. Второй же том («Советский период») устарел в своих установках. Были и более крупные потери, на наших глазах академическая «История всемирной литературы» из девятитомной превратилась в восьмитомную, оставив XX век фигурой умолчания. Проблема сибирской литературной классики не поставлена в двухтомной коллективной монографии (Новосибирск, 1982), на равных рассматриваются сибиряки и писатели, только проехавшие по Сибирскому тракту. Дело даже не в частных оценках, а в понимании *специфики* исследуемого материала: «Итак, предмет исследования включает в себя: местную печать и журналистику, рукописную и краеведческую литературу, произведения писателей-сибиряков, созданные в Сибири, а также за ее пределами (в последнем случае лишь произведения о Сибири); произведения, созданные на материале сибирских впечатлений литераторами–политическими ссыльными; произведения общерусских художников, написанные ими на основе пребывания в Сибири» [т. 1, с. 13]. Границы объекта размыты: всё, написанное о Сибири значительными художниками, трактуется как сибирская литература. Самосознание не выделено в качестве исходного принципа, при таком подходе литература Сибири означает только провинциальную тематику. Это внешний взгляд, а надо очертить границы сибирского текста. Важна, но не достаточна «топофилия», изображение природной среды, которое школа евразийцев понимала как природно-ландшафтный детерминизм. Сибирская литература выделяется по наличию регионального самосознания, а при его отсутствии можно говорить лишь о тематическом направлении.

Осознав свою миссию к концу XIX века, литература Сибири не смогла противостоять подчиняющему воздействию «петербургской» картины мира, оказалась нечуткой к Востоку, вторично европейской. Как субэтнос сибиряки могли отделиться по конфессиональному признаку (в русском населении здесь вначале преобладали старообрядцы) или, в гражданскую войну, по политическому строю, но этого не произошло. Отсюда отношение многих к словосочетанию «сибирская литература» как к консервативно-утопическому проекту. Научно корректна обобщенная постановка вопроса: поэтика региональной литературы. Здесь предполагается проникновение восточных мотивов, особая мифологическая символика, статичность сюжетов. Вопрос, как видим, можно конкретизировать: являются ли сибиряки субэтносом, подобно поморам и казакам. А каков же смысл словосочетания «сибирский характер»? Исходный вопрос: может ли региональная литература отличаться от общерусской в поэтике? М.М. Бахтин указал на специфический

*хронотоп* областнического романа («Формы времени и хронотопа в романе»), правда, на материале немецкой литературы, но речь идет об общих принципах региональной словесности. Существенный оттенок содержится в замечании Б.Ф. Егорова: «В больших странах провинция играет весьма существенную роль, соревнуясь со столицами... <...> Там, где появлялось региональное самосознание, не могла не возникнуть соответствующая литература. Поэтому для меня нормальны термины “поморская литература” (один Б. Шергин чего стоит), “донская литература” (Ф. Крюков, М. Шолохов). Затрудняюсь с “сибирской литературой”, но, наверное, с некоторыми оговорками, можно и ее считать существующей» [Егоров, 2002, с. 8]. Можно только сожалеть, если громадная Сибирь, действительно, не дала оригинальной литературы. Ведь ее населяли сотни народов, здесь сосуществовали разные типы хозяйства – от присваивающего до индустриального.

За оригинальность можно принять замедленность литературного процесса. В новейшей книге «Поэтика литературы Сибири 10 – 30-х годов XIX столетия» К.В. Анисимов говорит о стадийном отставании литературы Сибири от «центральной», но ведь это повторение, а не особая поэтика. «Пространственная картина мира», «вопрос о концепции героя» [Анисимов, 2004, с. 9, 81] – фундаментальные проблемы, но дальше постановки этих тем проза Сибири в XIX веке не продвинулась. Если оригинальная сибирская словесность в первой половине XIX века еще не сложилась, то рассуждения о специфической поэтике сибирской литературы либо опрометчивы, либо вызывающе полемичны. Есть основания рассуждать о т.н. региональной эпопее и шире – о *сибирском романе* как о стилевом течении.

Об отставании литературы Сибири писали Е.К. Ромодановская и Ю.С. Постнов. «Иртыш, превращающийся в Ипокрену» выходил, когда классицизм в России закончился; романтизм и натуральная школа также задержались здесь надолго. Собственно сибирская литература началась с отталкивания от романтической экзотики, против нее направлены критические выпады Потанина и Ядринцева. О консервативности сибирской словесности XX века говорит слабая выраженность в ней модернизма. Этот *провинциализм*, характерный для всей литературной истории Сибири, от XVII века доныне, внешне делает ее «запоздалым эхом» европейской традиции. Так сказывается фактор пространства: Иркутск ближе к Дели, чем к Парижу. Но, может быть, здесь не столько «отставание от европейских центров», сколько конфликт «мирового города» и провинции, о чем говорил О. Шпенглер? И, разумеется, важен тип героя, носителя «нестоличного» сознания.

Перед «птенцами» потанинского гнезда прежде всего встала проблема положительного героя. Еще 70-е годы Потанин заметил: «Роман из жизни интеллигентных людей в Сибири не имеет до настоящего времени необходимой для него почвы... <...> ...попытки создать его неизбежно будут неудачны» («Роман и рассказ в Сибири», 1875). Повторяя европейский путь, сибирская литература могла начаться с романа воспитания, но участь образованного сибиряка-патриота была особенной, ведь первый его шаг означал отказ от жизни в обжитых местах: получив образование в столице, он возвращался в родную глухомань, в каторжные места. Мотив возвращения блудного сына первоначально звучал здесь романтически, что неприемлемо было для пионеров сибирского патриотизма.

Г. Потанин убеждал, что наиболее полно региональное сознание выразится в многогеройном романе с хроникальным сюжетом. Сибирская проза созрела для создания областной эпопеи только в 1910-е годы, однако советская критика первым делом нанесла удар по областничеству. После революции верность потанинской программе сохранил только эмигрант Гребенщиков. «Чураевы» – одинокая вершина, хотя в ту пору создано немало советских региональных эпопей. Дискуссии о семитомной семейной хронике Георгия Гребенщикова как художе-

ственном целом еще не было, начало ее может свидетельствовать о формировании постсоветского регионального самосознания. Классические образцы жанра – дилогия П. Мельникова-Печерского о поволжских староверах («В лесах» и «На горах») и два романа М. Шолохова о Доне, взятые как противоречивое единство. Попытки создать новую областную эпопею (среди них и К. Седых, и А. Черкасов) дали, главным образом, материал литературному краеведению.

Сжетообразующую роль в романе Гребенщикова играет мотив возвращения блудного сына. Василий Чураев, богоискатель из кержаков, должен был пройти путь искушений и возврата *домой*, к народу. Но, в отличие от толстовских героев, он уже не стремится к слиянию с народной стихией – слишком много видел он сцен вандализма, – а ищет религиозную истину. Выход в такой ситуации – утопия, вернее, контрutoпия, идея реконструкции этноса на новой этической основе. Василий отыскал путь религиозного синтеза, и это вводит сибирский роман в контекст «религиозно-философского ренессанса». Скептицизм критиков-эмигрантов на этот счет нам понятен: невероятная задача – соединить в художественном целом староверие с теософией, византизм с оккультизмом.

В первую очередь сопоставить Г. Гребенщикова надо, конечно, с В. Шишковым: прозаики, начинавшие как ученики Потанина, в чем-то одинаково увидели участь сибиряка в гражданской войне. «Ватага» и «Былина о Микуле Буяновиче» имеют явные мотивные переключки, но никакой романтизации братоубийства в романах Гребенщикова нет, сцены озверения толпы достоверны. Нет у него и обличения «кровососов»-предпринимателей. Семейный роман «Угрюм-река» – сибирский лишь внешне-тематически: в основу положена фабульная схема горьковского «Дела Артамоновых». В литературе советской Сибири была задана новая классика: Л. Сейфуллина, К. Седых, Г. Марков, С. Сартаков. Даже в масштабе региона это писатели второго и третьего ряда: мала их связь с традицией, «вечных» тем, которые советская критика оценивала как «проповедь поповщины», они избегают. Местные традиции, как будто и необходимые для колорита, подавались как временная и легко преодолимая экзотика. Для соцреализма обязательен контраст прошлого и настоящего, и К. Седых, Е. Пермитин, С. Сартаков, А. Иванов, Г. Марков воспевают ликвидацию этнической идентичности.

Самое узкое понимание термина «сибирский текст» – литература аборигенов. Относить ли к сибирской классике, скажем, творчество Юрия Рытхеу или Владимира Санги, – это вопрос о художественном уровне русскоязычных текстов Сибири. Если областники писали о бедственном положении и вырождении аборигенов, то советские публицисты все это отнесли в «проклятое прошлое». В перспективе создания *советского народа* сохранение этнографических типов казалось реакционной задачей. Но, как выразился, Л. Гумилев, «по приказу этносы, явления природы, не создашь», и надо считаться с тем, что сибирские народы – «старички»: «Нет ни одного этноса, который бы не испытал подъема пассионарности, и нет ни одного, который бы не превратился в реликт, если только он не рассыпался на куски раньше...» [Гумилев, 1993, с. 27]. В большой литературе «куперовский» мотив первопроходцев так и не был реализован, интерес образованного русского исследователя к мудрецу-аборигену есть лишь в прозе В. Арсеньева и Г. Федосеева, писателей все-таки не первого ряда.

В 20-30-е годы о переломе в культуре сибирских народов написали «образцовые» романы русские советские прозаики, узнавшие о них из книг этнографов. Показательный пример: «Как пришли мы с отрядом, сейчас же сход ихний создали. – Ну что, товарищи тунгусы, – сказал Холкин, – перво-наперво про революцию слыхали, про красных знаете? Стали потом о разном разговаривать. Мукц-то, оказывается, тунгусы в глаза не видывали» (Р. Фраерман. «Соболя», 1926). Это скверный анекдот – прославление гражданской войны в родовом, доаграрном обществе. Поощряемые полубразованными наставниками, аборигены Сибири про-

славили исчезновение собственного этноса. Можно ли сейчас восхищаться тем, что о жизни чукчей написали В. Богораз-Тан («Воскресшее племя») и Тихон Семушкин («Чукотка», «Алитет уходит в горы»), о нивхах Геннадий Гор («Ланжеро»), Рувим Фраерман («Васька-гиляк»), Трофим Борисов («Сын орла»), об эвенках Михаил Ошаров («Большой аргиш»), об алтайцах Афанасий Коптелов («Великое кочевье»)? Лейтмотив советской прозы 20 – 50-х годов о Сибири – это радость маргиналов по поводу изгнания родовых старейшин и шаманов («Алитет уходит в горы»)!

Перетащить палеоазиата из каменного века в «комсомольский» – так формулировалась доктрина «ускоренного развития бесписьменных народов». Ложногероические эпопеи соцреализма, по существу, – антиэпос: они иллюстрируют «победное» освобождение от национальной идентичности, а русскоязычная проза советской Сибири – самый очевидный *псевдоморфоз*. О. Шпенглер, введший это понятие, указал на культуры Востока: «Историческими псевдоморфозами я называю случаи, когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот – ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания. Все, что поднимается из глубин этой ранней душевности, изливается в пустотную форму чуждой жизни» [Шпенглер, 1998, с. 193]. Как факт, аккультурация в евразийском пространстве неоспорима: здесь исчезли десятки языков.

Мы встречаемся с различным пониманием аккультурации. Американских культурологов интересует динамичная сторона процесса «усвоения значительной части другой культуры и приспособление к стереотипам поведения и ценностям новой культуры, адаптация, т.е. совмещение изначальных и заимствованных элементов в гармоничное целое или сохранение противоречащих друг другу установок...» [Билз, 1997, с. 355]. Рассуждая о смене поведенческих стереотипов отдельных людей или групп, они не обращают внимания на то, например, что аборигены южной Америки изменили стереотипы испанской культуры, тогда как северные американцы почти не оставили следа в современном культурном процессе. Если, заселив громадный материк, пришельцы не взяли ничего из опыта аборигенов, тысячи лет живших на этой земле без опустошения ее, – это свидетельство ошибки или преступления. Традиционалисту хочется, вслед К. Леонтьеву, «подморозить» нынешнее состояние мировой культуры, уже далеко не благополучное.

Мотив возвращения блудного сына к родному очагу можно различить в наиболее интересных произведениях аборигенов Сибири: «Ложный гон» нивха Владимира Санги, «Амур широкий» нанайца Григория Ходжера, «Синий ветер каслания» манси Ювана Шесталова. Почти все реалии традиционного быта, скреплявшие кочевой или охотничий народ, предстали в ореоле запоздалого сожаления. В образах мифов открылась безусловная правда и далекий прогноз, мудрость шаманов и кайчи теперь ставится выше книжной. Тематическая параллель – неопочвенничество, «деревенская проза», достаточно представленная и сибиряками; только «исповедальная проза» аборигенов написана уже не на родном языке, налицо глубокая лингвистическая аккультурация. Европейские сюжетные схемы используются интенсивно, но, как когда-то в областнической критике, прорывается призыв создать заново сибирского писателя.

Итак, в преамбуле курса «Русская литература Сибири» мы выдвигаем задачу: осветить этапы исторического самосознания региона от летописания до областнической идеологии. Следующий шаг – вопрос о сибирской классике: как история национальной литературы изучается по лучшим созданиям, так, очевидно, должна изучаться и литература региона, хоть большого, хоть малого. Художественное качество отделяет явления *литературно-краеведческого* уровня от основных открытий литературной истории Сибири. Важно начать дискуссии, сам собой консенсус

не явится, а будет навязано мнение извне. Владимир Зазубрин – фигура переходная: открывая советскую литературу Сибири, он не отрекался от «местного патриотизма» («Мы не хотим походить на Иванов не помнящих, мы хотим быть детьми Сибири»). Прославился он двумя несовместимыми произведениями о терроре. «Два мира» – это художественно слабое сочинение предваряет размышления о повести «Щепка», тема которой – красный террор в Сибири. Незаконченный роман «Горы», тяготеющий к типу областной эпопеи, – начало большого полотна о гражданской войне и ее последствиях. В контексте сибирской прозы должен быть упомянут и Вс. Иванов.

Мир Павла Васильева, прежде всего поэмы о «Песня о гибели казачьего войска» и «Соляной бунт», – сочетание новокрестьянской поэтической традиции с комсомольской. Евразийским образом пространства привлекательны стихотворения «Дорога», «Ярмарка в Куяндах», «Песня», «Иртыш», «Сибирь». Художественный уровень классика сибирской поэзии настраивает на сопоставления его с Клюевым, Цветаевой, Твардовскими. Если Сибирь понимать широко, как северную Азию, то обязательно включать в региональный контекст Арсения Несмелова, поэта «первой волны» эмиграции, виднейшего литератора русского культурного центра в Харбине. В первых его сборниках – «Военные странички», «Стихи», «Уступы» – доминирует тема смуты, интересны они жанрово-стилевыми исканиями, влиянием акмеизма. В сборнике «Кровавый отблеск» и в «Балладе о даурском бароне» – сочетание героико-романтической и трагической тональности; трагико-элегическую тональность имеют сборники «Без России» и «Белая флотилия». Религиозными символами и конкретно-историческими деталями замечательны стихотворение «В Нижнеудинске» (о судьбе адмирала Колчака) и «Поэма о России», адресованные поколению, утратившему родину.

Александр Мисюрев, автор книг «Легенды и были», «Бергалы», обработчик и сочинитель легенд-сказаний о горняках и «горных рекрутах», интересен не только в краеведческом аспекте. Его проза донесла до нас народное осмысление истории Демидовских заводов и кабинетских земель, или горной конторы. Бунтари и беглецы горнозаводского фольклора – герои книги «Предания и сказы Западной Сибири» (1954), включившей также легенды и были ямщиков Сибирского тракта. Леонид Мартынов, поэт и прозаик, имеет отношение к сибирской классике. Исторические поэмы «Тобольский летописец», «Искатель рая», «Сказка про атамана Василия Тюменца, посла к золотому царю». Исторические повести «Сын боярский» (о Семене Ремезове, первом сибирском картографе и зодчем) и «Лукоморье» (о Мангазее). Достоин изучения цикл документальных повестей Сергея Маркова «Люди великой цели», сводное документально-художественное повествование «Земной круг», «Вечные следы», «Летопись» – охват истории Евразии от скифской эпохи до современности, сочетание научно-географических гипотез и поэтического обобщения.

Сергей Залыгин свой жизненный путь осмыслял в исповедальном «Экологическом романе» (90-е годы). К сибирской литературе прямое отношение имеет роман «Комиссия», раздумья о главном и ненужном в жизни, и повесть о коллективизации в Сибири «На Иртыше», где сюжетообразующей стала тема борьбы деревни за и против крепкого крестьянина. В «Комиссии» есть черты исторического и философско-экологического романа. Диспуты и народные споры – основная тема прозы Залыгина – предельно использованы в романе «После бури».

В наследии Виктора Астафьева нас интересует, прежде всего, автобиографическая *трилогия*: «Последний поклон», «Зрячий посох» и «Царь-рыба», а также «Печальный детектив», содержащий диагноз нравственного нездоровья народа. Глухота зараженной деконструктивизмом критики к целому, к завершению видна в том, что, рассуждая по отдельности о трех книгах, она не видит единого произведения. В нем, кроме классических детства, отрочества и юности, автор предста-



вил и зрелость: блудный сын Сибири вернулся на малую родину и увидел мир браконьеров и пожизненных туристов.

Валентин Распутин, бесспорно, самый «оседлый» из крупнейших писателей-сибиряков. Сибирский характер, черты субэтнуса, – в основе рассказов и повестей. Большой путевой очерк «Вверх и вниз по течению» – первое освещение темы затопления деревень, художественное же решение этой проблемы – в повести «Прощание с Матерой» (как вопроса о дьявольской цене прогресса). Повесть «Пожар» – эпилог «Прощания с Матерой» и фокусировка острейших конфликтов современности. Чрезвычайно интересна постановка региональных проблем в публицистике Распутина, вызвавшей отпор глобалистов.

Есть два имени, отнесение которых к сибирской классике вызывает сомнения, – Всеволод Иванов и Василий Шукшин. Кто-то видит в их наследии объект литературного краеведения, а кто-то считает взлетом сибирской прозы. Оба в раннем творчестве сохраняли колорит родного края и преимущественный интерес к сибиряку, но постепенно отходили от этого. Шукшин дебютировал не в Сибири, в раннем цикле рассказов «Они с Катуня» виден Алтай и сибирский характер, в последних сборниках рассказов этого уже нет. В контексте сибирской прозы, пожалуй, больше всего интересен роман «Любавины». Его можно толковать как семейно-нравоописательный роман, роман воспитания, как историческую хронику; писатель рассказал о трагедии рода Любавиных, носителей сибирской вольности, выразил понимание психологии «кулака» вразрез с канонами соцреализма. Прозаик нашел тип цельного, не смирившегося человека, обреченного новой властью на уничтожение: Егор Любавин, по замыслу, оказывался в отрядах барона Унгерна и должен был вернуться обреченным блудным сыном.

Самым слабым звеном сибирской литературы в XX веке была и остается критика. По существу, общесибирской критики нет после Н. Яновского, да и он был больше историком. А без самосознания нет художественной школы. Какую роль играет региональное сознание в современном мире? Обойдя этот вопрос, дают то узко локальную, то расширительную интерпретацию текстов. Есть ли основание считать, что местное литературное «гнездо» (Иркутск или Новосибирск) отражает всесибирский процесс? В аннотации книги «Беседы о сибирской литературе» (Новосибирск, 1997) А. Горшенин предупреждает: «В книге представлено творчество лучших писателей-сибиряков». Но что-то многовато «лучших», а потому ключевые фигуры тонут в перечислениях имен, в конце книги разговор идет лишь о писателях Новосибирска: региональный и областной уровни художественного процесса не разделены. Писатели-сибиряки, достигшие мировой известности, лишь упомянуты.

Надо разрешить укоренившееся недоразумение: как только сибиряк создает произведения мирового уровня (В. Распутин) или общенационального (С. Залыгин), он изымается из контекста сибирской прозы, о нем разрешается упоминать лишь мимоходом, даже если он всю жизнь размышляет о малой родине. Но тем самым как раз и стимулируется литературный провинциализм, точнее сказать, однообразие культуры. Одно дело – провинциализм как художественное качество и другое – регионализм как тенденция, *ценностная установка*. Серьезная литература региона – это опыт природно-исторической адаптации, а не бездумной репродукции чужих наработок.

Отдаляясь от марксистской концепции, будем оперировать контрастными понятиями: «органическая традиция» и «глобальная аккумуляция». С точки зрения глобалистов, изучение региональной литературы не имеет серьезной ценности: единое литературно-художественное поле считается установленным навсегда и бесповоротно. Люди не хотят глубокой натурализации в местных условиях, не чувствуют ответственности за регион. Его природа, его прошлое для них стали чем-то сторонним, словно судьба их зависит не от этой земли, а от какой-то дру-

гой. Таков тип постмодерниста: это «лишний» человек в новом смысле слова, всегда и во всем сторонний, не знающий привязанности к земле, к малой родине. Этноландшафтное равновесие на этом пути восстановить невозможно, кризис будет нарастать, а на Сибирь ведь еще возлагаются надежды как на биосферный запасник. Сейчас «болеть Россией» стало означать: страдать болезнью провинции. Угасание «местного патриотизма» – повсеместная тенденция, аккумуляцию мы наблюдаем и у себя на малой родине.

Современный регионализм имеет новую функцию: это ответ провинции на вызов глобализма. Даже если квалифицировать его как ретроспективную утопию, все равно он интересен как возражение новейшей, крайне прогрессистской, утопии. В мире различимы две полярные тенденции: гасится всякая самобытность, национальное сознание, не говоря уж о субэтническом, но в провинции, еще связанной с природой, живы импульсы органического творчества. Здесь проходит граница между культурой и цивилизацией, как об этом сказал Н. Бердяев: «Цивилизация – музейна, в этом единственная связь ее с прошлым. Начинается культ жизни вне ее смысла... <...> Культура в эпоху цивилизации всегда романтична, всегда обращена к былым религиозно-органическим эпохам. Это закон» [Бердяев, 1990, с. 169, 170]. В таком случае, в конфликте Центра и периферии проявляется несовместимость цивилизации и культуры: «Мировой город и провинция – этими основными понятиями каждой цивилизации очерчивается совершенно новая проблема формы истории...» (О. Шпенглер). В обстановке торопливой вестернизации здесь можно видеть достоинство региональной литературы: охраняя органическую традицию, она неизбежно консервативна. Региональное сознание оказалось в оппозиции к глобальной монокультуре.

В этом контексте можно без сарказма отнести к «отставанию» Сибири в литературном модернизме. Ведь, в самом деле, кроме Л. Мартынова (отошедшего, впрочем, от футуризма) здесь не было ни одного заметного писателя-модерниста. Но к исходу XX века стало видно, что модернизм – это мировосприятие европейского суперэтнуса в стадии надлома и начинающейся обскурации (по Л. Гумилеву), а постмодернизм, по-видимому, – первое проявление глобальной монокультуры, с ее эмансипированной чувственностью и скатыванием к масскульту. Рассуждения об идеологической нейтральности постмодернизма не выдерживают критики. Совсем недавно в оборот введена калька: «сибирский фронтир» [Американский и сибирский фронтир, 1996]. Своей простотой это понятие напоминает мифологическую схему советской литературы: не было социализма в тайге и тундре – пришел социализм. Так и наступление постмодернизма означает передвижение границы Запада. Как заметил А.С. Панарин, «демографическая и культурная катастрофа, постигшая туземное население, была связана с философией “пустого” пространства, ни к чему не обязывающего пришедшего “нового человека”». В глобальную эпоху подобная катастрофа может принять глобальный характер. <...> Как известно, “американская мечта” неразрывно связана с образом “отодвигаемого фронта”. <...> Речь идет о новой глобальной культурной революции, связанной с разгромом национальных святынь» [Панарин, 2003, с. 108, 131]. Рано или поздно «отодвигаемый фронтир» не оставит места ничему инородному, не похожему на него.

Отечественная научная традиция под историей «русской Сибири» подразумевает колонизацию, продолжение тысячелетнего движения русских на восток, ведь и Дон, и Поволжье были когда-то районами русской колонизации. Но в Сибирь пришли посланцы сформировавшегося этноса, а потому сибирских аборигенов они обрекли на неизбежную аккумуляцию. Поскольку все народы испытываются влиянием, этот процесс предстает в двойном свете: как синтез и как регрессия. Заимствованные мотивы – еще не свидетельство полной ассимиляции, и бесполезно рассуждать об утрате качеств коренной культуры выборочно, изоли-

рованно. Л.Н. Гумилев напомнил, что в геноциде русские «покорители Сибири» не повинны: спаивали, обвешивали и грабили, но войны на уничтожение «инородцев» все-таки не было. Речь идет о результате: коренных жителей на их исторической родине считают маргиналами, в числе таковых оказались староверы и прямые потомки первопроходцев.

Установилась обратно пропорциональная зависимость между близостью к центрам цивилизации и национальной самобытностью. Выходец из провинции не приобретет славу постмодерниста, пока не разорвет душевную связь с малой родиной. Можно толковать это как продолжение романтического негативизма. Призывая сибиряков к «трезвому охранительному реализму», В. Распутин имел в виду псевдоромантику, отрицающую жизненную норму («Сибирь без романтики»). Последними классиками сибирской прозы сейчас представляются Астафьев и Распутин – явно в силу консервативности картины мира. Не потому ли достигли они мировой известности, что шли своей дорогой? Не говорит ли признание этих писателей-традиционалистов о подспудном сомнении в правоте модернизма – автопортрета века сего?

До конца XX века сибирская реальность давала художникам взаимоисключающие импульсы: чувство голого пространства, где можно воплощать титанические проекты, и последнего прибежища простой жизни в согласии с природой. Областные послышки недавно актуализированы А. Солженицыным, призвавшим создать на Северо-Востоке, «еще не обезображенном нашими ошибками», продолжение русского государства. Последний вздох региональной утопии здесь имеет антиглобалистскую окраску; вспоминается мнение О. Шпенглера о русско-сибирском культурно-историческом типе, который сменит западную цивилизацию. Надо помнить потанинскую установку: освободиться от «синдрома чужезумия». «Культурное задание» Сибири не снято: не навредить в обстановке торопливой вестернизации, не уничтожить остатки живой природы. Глобализм и регионализм сосуществуют в настоящее время как конкурирующие ценностные системы, и надо пытаться увидеть судьбу Сибири в разных проекциях.

Если осмелиться подводить предварительные итоги XX века, то придется признать: оригинальная литература Сибири – скорее ориентир, задание, чем данность. За истекший век Сибирь скорее погасила, чем развила свой литературно-творческий потенциал, о котором говорили областники. Тем не менее, во второй половине XX века она, в известной мере, преодолела свою литературную провинциальность, и возникла задача: разграничить региональные и общелитературные художественные ценности. История Сибири была тяжелой драмой, и драма эта в литературные формы еще не уложилась. Думается, Гребенщиков, Астафьев, Распутин и, в значительной степени, Шукшин наиболее полно изобразили тип сибиряка и выразили драму субэтнического сознания – необходимость и невозможность его формирования. Можно, по модели «карамзинский период», «пушкинский», «гоголевский», выделить в литературной истории Сибири, скажем, «толстовский», «чеховский» или «горьковский» периоды, но мы хотим понять ее своеобразие, и, скорее, следует говорить о «потанинском», «гребенщиковском», «астафьевском» или «распутинском» периодах. Говорить всерьез об эпохе постмодерна в Сибири, пожалуй, нет оснований. На взгляд постмодернистов, региональная литература 60 – 80-х гг. – продукт инволюции соцреализма, ретроспективная утопия для не вписавшихся в крутые повороты истории. А между тем, утопия единственного гиперэтнуса планеты для органического развития местной культуры губительна уж никак не меньше, чем идея «советского народа». Если правы Н. Данилевский, К. Леонтьев и Л. Гумилев (а это цвет русской культурологической мысли), и гиперэтноты подвержены энтропии, движутся к обскурации и самоликвидации, то почему же избежит этой закономерности гиперэтнос-человечество? А ведь запасников выживания в «дремучей провинции» уже не будет. Конечно, спор о нормах

и ценностях принадлежит к числу незавершенных, но дискуссия о вкладе Сибири в мировую литературу и возможностях ее сейчас нужна как никогда. И поддержка регионалистских тенденций означает в настоящее время противостояние глобальной *аккультурации*.

Таким образом, мы рекомендуем филологу, преподающему «региональный компонент образования», разделить свой курс на две неравных части: «Литературная классика Сибири» и «Историко-литературное краеведение». Тем самым соблюдается иерархия уровней: местная литературная жизнь видится в масштабе Сибири, а сибирский литературный процесс сопоставляется с общенациональным, европейским и глобальным. Литературное краеведение – это история отдельной области или даже района, отразившаяся в творчестве местных авторов, а также временное прикосновение к ней деятелей *большой* литературы: декабристы в Иркутске, Достоевский в Кузнецке, писатели, временно жившие в Тобольске и Томске, местные литературные объединения, альманахи. Согласимся с резюме В. Распутина: из романтической любви к дальнему, к экзотике «сибирская идея» превратилась в «трезвый охранительный» реализм, таков пафос провинции. Она поневоле заняла консервативную позицию: есть основания опасаться, что экологическая ситуация в глобальном культурном пространстве будет ухудшаться. Альтернатива начавшегося века – либо постмодернистский сброс национальной памяти (тем более – субэтнической), либо поиски самобытности. А вне проблемного контекста аккультурации и многоголосия дискуссии сейчас малопродуктивны. Эта новая ситуация в экологии культуры задает масштаб рассуждениям о классических и неклассических направлениях.

### Литература

- Азадовский М.К. Сибирские страницы. Иркутск, 1988.  
Американский и сибирский фронт. Томск, 1996.  
Американские исследования в Сибири. Вып. 1-5. Томск, 1997 – 2001.  
Анисимов К.В. Поэтика литературы Сибири 10 – 30-х годов XIX столетия. Томск, 2004.  
Бердяев Н. Смысл истории. М., 1990.  
Билз Р. Аккультурация // Антология исследований культуры. Т. 1. СПб., 1997.  
Гумилев Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. М., 1993.  
Егоров Б.Ф. О провинциальной культуре и региональном самосознании // Сибирский текст в русской культуре. Томск, 2002.  
Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2003.  
Пиксанов Н.К. Областные культурные гнезда: Историко-краеведческий семинар. М., 1928.  
Потанин Г.Н. Письма. Т. 2. Иркутск, 1988.  
Слоним М. Современная сибирская литература // Вольная Сибирь. Прага, 1929. Вып. V.  
Троцкий Л. О Сибири. Речь на вечере сибиряков 28 февраля 1927 г. М., 1927.  
Ходасевич В.Ф. Колеблемый треножник: Избранное. М., 1991.  
Шпенглер О. Закат Европы: Т. 2: Всемирно-исторические перспективы. М., 1998.